

ТРАДИЦИОННОЕ И НОВОЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Новое сравнительно с чем? Традиционное в какой или каким образом истолкованной традиции? Вопросы эти — вопросы истории, и как только их себе поставишь, становится ясно, что говорить в связи с ними об одной эмигрантской литературе, как и об одной «советской» (кавычки эти еще будут объяснены) невозможно: осмысляются они по-настоящему лишь если предъявлять их одновременно той и другой, в свете того, что расколу их и розни предшествует и что продолжает служить общему их основой. Это я и постараюсь в дальнейшем показать. Тема, заглавием намеченная, не такова, чтобы ее можно было исчерпать на нескольких страницах. Ограничусь суждением о том, в какой перспективе следует ее рассматривать.

Эпоху высшего расцвета своей литературы испанцы называют золотым веком, а французы — великим; один предшествует другому и длятся они оба полвека примерно, а не век. Нам до наших «классиков», в отличие от французов, испанцев, англичан, немцев даже, и тем более итальянцев, рукой подать; наш поэтому «великий век», — названный так по французскому образцу иностранцами, не нами — это всего лишь век минувший. А так как наша литература стяжала себе мировую славу не стихами, а прозой, романами прежде всего, то возвеличенный этот, благодаря переводам, век для иностранцев велик второй своей половиной: Достоевским, Толстым, да в придачу Тургеневым и Чеховым. Что же до нас, то и мы не отрекаемся, конечно, от двух величайших наших писателей и от двух столь замечательных других, но ведь клянемся мы и Пушкиным, «веселым именем Пушкина», как Блок сказал перед смертью, да и когда придумали мы называть блоковское время «серебряным веком», как это теперь все чаще делается, с каким же золотым мы его сопоставляли? Ведь не с предыдущими тремя или четырьмя десятилетиями? Так, во всяком случае, покуда длился «серебряный век», никто из его творцов или их читателей не думал. Золотым веком было для них как раз пушкинское или пушкиноголеовское время. Блок, в той же пушкинской речи, даже сороковые годы, то есть и Гоголя (хоть его и не упоминая) вместе с Белинским устранил, пушкинские зато признав «единственной культурной эпохой в России прошлого века». Но как же тогда наш, ведь нами самими почитаемый *grand siècle*? Как нелепо вклиняется он между золотым и серебряным «веками», по четверти столетия каждый! Или равновеликими все поколения, все десятилетия нужно объявлять, от Пушкина, а то и от Державина до смерти Блока?

Каким растерзанным, жалким, каким опустившимся окажется тогда, по сравненью, наш дальнейший, не окончившийся еще двад-

цатый век! Только все же не оптическая ли это иллюзия, весь этот из литого золота больше, чем столетний век, и после него жестяной, щедедушный, обесцвеченный казенным клеймом, серпом срезанный, молотом сплюснутый? Проистекает иллюзия эта отчасти из чрезмерной склонности играть ровного счета веками вперемешку с разнокалиберными великими, серебряными и золотыми, отчасти же из неспособности, очень распространенной до недавних времен на Западе, сопротивляться казенно-партийному отождествлению русской литературы последних пятидесяти лет с эрэсэфэсэрской или советско-русской литературой. Если ближе взглядеться, предвзятым или навязанным схемам не поддаваясь, получится другой, более близкий к действительности чертеж.

Смертью Лермонтова, Баратынского, опубликованием первой части «Мертвых душ» кончается первое, не на много больше, чем двадцатилетнее цветение нашей литературы, стихотворной прежде всего, но все-таки уже и прозаической, после чего начинается вдвое более длинный период, о котором ничего огульно дурного не скажешь, раз и «Братьями Карамазовыми», и «Анной Карениной», и столь многим другим обязаны мы ему, но который все же ознаменован очень заметным снижением и стихотворной и общеписательской культуры, редкостным убожеством критики, отчуждением от западных литератур (от всего не на поверхности лежавшего в них) и уродливой травлей писателей, мысливших не совсем так, как полагалось им мыслить по мнению Варфоломея Зайцева, или Писарева, или других того же толка интеллигентов и полуинтеллигентов. Об этом тоже высказался Блок, в том же самом устном завещании своем, от своего имени, от имени недолгого, его смертью завершенного «века», но и в согласии со вполне беспристрастной истиной: «Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа. Он кажется нам таковым и до сих пор». Это Блок говорит из вежливости, хоть и не той, какую приписывает Бенкендорфу; но продолжает: «было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это — не так. И, если это даже не совсем так, будем все-таки думать, что это совсем не так. Пока еще, ведь,

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман».

Этот обман Блока не возвысил, он его убил. Насчет дальнейшего он, впрочем, и обманываться не захотел. Вслед за иронической цитатой он пишет: «Во второй половине века, то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку».

Характерным для второй половины века был не Достоевский, не Толстой, и уж не Тютчев конечно (почти сверстник Пушкина), даже не Фет; характерным было именно шестидесятничество, шестидесятническая грубость мысли и суконность слога, паралич стихотворной речи, отданной в аренду куплетистам (паралич этот и Фета, в его переводах, не пощадил) и связанное с ним, немислимое

ни раньше, ни позже сочетание в лице Некрасова — сочетание в одном лице — совсем большого поэта с поэтом из рук вон плохим, а попозже, для итогов шестидесятничества, та литературская среда, что окружала молодого Чехова, да и собственные его ранние рассказы. Поздние им не чета; но понадобился Чехову и впрямь чуть ли не гений, чтобы восполнить скудость образования и узость кругозора, которых никто не поставил бы в упрек Герцену, например, или Хомякову, как и Мережковскому или Вячеславу Иванову. Зато в эти самые, чеховские еще и дальнейшие годы, русская литература — и Россия вообще — как раз и начала вновь приобретать и приумножать все то, что с середины прошлого века стала она растеривать. Для тех, кто был молод тогда, обновление совпадало с ожиданием и наступлением нового столетия. Помню, что в ранней юности моей, около 1910 уже года, это чувство нового начала ощущал я, как и многие мои сверстники, очень сильно, на прошлое, до меня бывшее, оглядывался со снисходительной улыбкой, и двадцатый век девятнадцатому отчетливо предпочитал. В России тех лет чувствовать так было вполне естественно: открывались новые возможности, подъем ощущался во всех областях жизни, и прежде всего духовной жизни. Понимаю это чувство, сочувствую ему и сейчас. Будущее, предчувствовавшееся тогда, и сейчас ощущаю, утверждаю. Оно не сбылось. Даже и образ прошлого, то есть традиции, из которой выростала эта новизна, вновь подвергся искажению. Запоздалые шестидесятники, полуинтеллигенты, пришедшие к власти после «Октября» вновь лишили Россию тех благ, к которым она и привыкнуть не успела. Началось новое оскудение, и уже безо всяких испугающих его Достоевских и Толстых.

Кроме оскудения началось, однако, и раздвоение, которого никто предвидеть не мог, которому прошлое являет аналогии лишь очень робкие и которое, во всем значении своем, остается до сих пор — неучтенным среди иностранцев на Западе, и не подлежащим учету в стране, называвшейся некогда Россией. Хозяева этой страны, хоть они-то имя у нее и отняли, все же никакой другой России, кроме этой, их собственной, с четырьмя или пятью буквами на ошейнике, признавать не желают; а на Западе ту, другую, зарубежную, за неимением у нее территории, армии, термоядерных бомб и всяческих вообще преимуществ, долгое время попросту не замечали. Отдельным людям, в том числе писателям, внимание уделяли, но зарубежную Россию в целом лишь теперь, когда ей за пятьдесят перевалило, стали понемногу замечать, и зарубежную русскую литературу сопоставлять с той, что все эти полвека прозябала за колючей проволокой — лагерной или пограничной — у себя на родине. Можно, конечно, сказать, что и зарубежная, хоть и по совсем другим причинам, прозябала больше, чем цвела; но если два эти прозябания по очереди рассмотреть, их различие взвесить, а затем одно с другим сложить, получится все же не столь безутешная картина. Вместе взятые два прозябания все-таки ближе окажутся к цветению, чем каждое из них взятое в отдельности. И сложение, воссоединение это когда-нибудь, в памяти потомства, силою вещей

должно будет произойти. Отчасти оно уже и намечается, даже и не в памяти, а на деле: покойников, чьи могилы не в России, печатают, многократно порой, хоть и все еще с большим (и смешным) разбором; живых и мертвых — запретных — независимо от кладбищ и паспортов, самиздатом издают. Воссоединение тем более неизбежно, что ведь разделение никогда напрямую по черте оседлости не шло, топографическому принципу «те — там, эти — здесь» полностью не подчинялось. Что такое русская литература двадцатого века, на это не может в отдельности ответить ни зарубежье, ни СССР.

Предпосылки — общие, у обеих ее частей; раскололась она надвое долгосрочно и всерьез не сразу — по мановению Ильича или оттого что дохнул на нее Октябрь, — а постепенно, после гибели Блока, расстрела Гумилева. Самоубийство Есенина уже не совсем то значило за рубежом, что значило оно в Москве. Ко времени столь же лестной для «партии и правительства» смерти Маяковского наличие двух русских литератур, хоть и недовольных быть может разъединением, но резко разъединенных, сомнению подлежать не могло. У них были те же предпосылки, но понимавшиеся уже по-разному, — то есть относительно России не ясно было только, как их там приказывали понимать. Там, с середины двадцатых годов все культурное обновление страны было поставлено под вопрос. Двадцатый век там насильственно стали возвращать в самую серую мглу девятнадцатого века; шестидесятничество, самое тусклое, вновь стали насаждать, анафематствуя все то, чем только что было разоблачено его интеллектуальное и общекультурное убожество. Обновление отнюдь не было поверхностным по существу, но поверхностным оно было по захвату. Очень много оставалось в России необновленного, доморощенного, самодовольно-захолустного; это все теперь спустилось с галерки, пересело в первые ряды. Но не следует и думать, что все те, кто занимал до того эти первые ряды перебрались за рубеж и что полностью из них одних составила зарубежная Россия или даже только литература зарубежной России. Не все серебро «серебряного века» было вывезено в эмигрантских чемоданах, и не все вывезенное в них было серебром. Захолустье тоже не сплошь осталось у себя дома. Рубеж оказался рубежом между стариной и новизной, — пусть и относительной новизной: обновляющей старину, а не рвущейся ее уничтожить.

В Советском Союзе тех лет уже выпалывали всяческую новизну, и столь же усердно выкорчевывали традицию, или по крайней мере все то, что в ней шестидесятничеству противоречило или хотя бы с ним не совпадало. Задачей эмиграции было и традицию хранить, и новизну оберегать. Коренного противоречия тут нет. Традиция без обновления не жива, а при ее отсутствии и обновлять нечего: таланту не от чего оттолкнуться, как и не к чему примкнуть. Но традиция и обновление составляют все же, хоть и неразрывное, но двустороннее единство, и совершенно ясно, что для эмиграции, желавшей сохранить свою русскость, его обращенная к прошлому сторона представлялась поначалу и дороже, и нужней; тем более, что в ранние ее годы самые безудержные и прямолинейные из оте-

чественных «новаторов» объявляли, да и считали себя революционерами, а революция еще не принялась вышибать из них эту дурь. Это, впрочем, относится больше к искусству, чем к литературе; но и в литературе (или поэзии) все стремления к решительной ломке властью были сломлены, а более осмотрительные немножко медленней задушены, просто-напросто уже требованием работать исключительно для ширпотреба. В зарубежье нашем промелькнула лишь тень революций, не признанных революцией, но традицию здесь к соцреализму и его шестидесятническим истокам не сводили, да и дальнейшему ее обновлению единодушно не препятствовали, а уж запретить его, разумеется, и вовсе не могли.

Можно пожалеть, что лучший журнал эмиграции, между двух войн, «Современные записки», как и лучшая газета, «Последние новости», руководились не литературными людьми и не людьми вполне понявшими и принявшими обновление нашей литературы, совершившееся незадолго до того. Шестидесятничество, хоть и не столь малограмотное, как у новых хозяев страны, и ими еще владело. Но печатали все-таки, и в журнале, и в газете, Набокова, по-русски писавшего тогда и подписывавшегося странным псевдонимом Сирий (как это не стесняется человек райской птицей себя называть, подумал я, впервые увидев эту подпись), да и стихи печатали отнюдь не похожие ни на Курочкина или Михайлова, ни на Демьяна Бедного. Литературный отдел газеты уж конечно был грамотней и осведомленней всех «Литературных газет», когда-либо издававшихся в СССР, а журнал, если забыть об иных слишком газетно-политических статьях, был едва ли не лучше всех вообще «толстых» (т. е. не только литературных) журналов, когда-либо издававшихся в России. Другие журналы, другие газеты, парижские и не парижские, точно также пренебрежения не заслуживали. Печталось, конечно, повсюду, и отдельными изданиями выходило многое и весьма невысокое по качеству, а то и вполне прискорбное, в оценке чего критика бывала порой парализована относительной узостью котла, где все это варилось, и внушаемого узостью этой принципа «на безрыбьи и рак рыба». Но все-таки критика молчать или лгать не была принуждена, как на отечественных просторах, и настоящей рыбы в котле было все-таки достаточно. Бунин лучшее им написанное — и самое «новое», впервые определившее подлинное его место в истории нашей литературы — написал будучи «белоземляком» (как Герцен, в другие времена, будучи красноэмигрантом). О Мережковском, Гиппиусе, пожалуй и о Ремизове, этого нельзя сказать, но позволительно разве написанное ими за рубежом вычеркнуть из русской литературы? Или из русской поэзии Ходасевича «Европейской ночи», Георгия Иванова как раз последних его лет, пражскую, потом парижскую Цветаеву?

Перечислять имена, оценок давать не буду, но раз я Цветаеву упомянул, не премину сказать, что многие здесь, в том числе и я, много лет оценивали ее несправедливо. Но в петлю ее загнали все-таки не мы. Она вернулась. Воссоединилась с уже приконченным Мандельштамом, с Ахматовой, с Пастернаком... Значит советскую

стала, как они? Но если они — советские, этак и всех нас, где бы мы не жили, раз наша страна зовется нынче Советским Союзом, советскими можно объявить. Однако хозяева этой страны рассуждали на самом деле иначе: Ахматову едва терпели, постоянно притесняли, Мандельштама истребили, Пастернака, по случаю Премии, сами объявили не своим. Как и нынче Солженицына, тем самым признав, и даже всесветно объявив, что русская литература двадцатого века, где бы ни писались ее книги, к понятию «советская литература» сведена не может быть. Пусть «советская» остается при Шолохове, а эмигрантская (поскольку оба термина применяются полемически, а не топографически) при столь похожем на него генерале Краснове. Это будет и с точки зрения традиции или новизны вполне уместно. Традиция — не повторение пройденного, как у этих двух авторов, не седьмая вода на толстовском киселе; а новизна — не новаторство, и Ходасевич, *malgré les apparences*, нов, — куда новей, чем Зданевич или Шершеневич. В 1930 году я напечатал (в газете «Возрождение») статью о новой прозе в эмиграции, где главное место отвел (как и следовало) Набокову, но упоминал и первую книгу Газданова, первые опыты Фельзена, — у них точно так же повторения пройденного не было (хотя Фельзен впоследствии именно этими словами иронически озаглавил один из своих романов), и было, пусть и менее оправданное сложной переработкой, чем у Набокова, следование западным образцам. Позже, когда вышла «Жизнь Арсеньева», я не раз думал, что в ней не меньше новизны, хоть и совсем другой, чем в «Защите Лужина» или «Даре». Взаимоотношение новизны и традиции гораздо сложнее и вообще, чем обычно думают. Было новое у Поплавского, на основании раннего Блока и чего-то на лету схваченного французского. Было у Штейгера, у несчастного Одарченки, почти целиком выщепленное у обоих из стихов Адамовича и его суждений о стихах. Было и есть той же «нотой» питаемое, нынче весьма осложненное, у Чиннова; очень (без «ноты») прихотливое у Иваска и (совсем по-другому) у Моршена. У Елагина, его новое возросло на «советской» всецело основе, чем средостение еще раз отрицается. И о прозе, в заключение скажу, что неповествовательная (то есть без вымысла обходящаяся) ее отрасль, столь долго находившаяся у нас в загоне, именно за рубежом дала новые ростки (в «Комментариях» Адамовича, например, а также у Ходасевича, Муратова).

Когда-нибудь, быть может в этом, нашем веке, будет подведен итог всей этой запутанной игре преемственности и новизны. Тем более запутанной, что происходила она, едва только первая четверть века подошла к концу, по обе стороны «рубежа», в условиях болезненных и жестоких. Преемственность оказалась сильна, сильнее всех нарочитых новшеств; Солженицын этому порука; та преемственность, что коренится в лучшем нашем прошлом, в той его части, которая современна была худшему, но выделять которую и худшему противопоставлять мы научились лишь в начале века. Через обновление научились. Без него могли Шолохов и Краснов обойтись, но не Солженицын. Оттого преемственность, в нем чувствуемая, и

сильна, что исподволь, без дешевой натуги, обновлена. Так обновлена, как не могла бы обновиться, если бы совсем иссякла в России память о начале века и о тех, кто тогда мыслил и писал. За рубежом, по мере сил, мы, или лучшие из нас, продолжили их работу. Не сомневаюсь — или почти, — что к концу века это будет оценено, как и будет вновь утверждено значение его начала. Но, главное, не сомневаюсь, что никакой справедливой оценки не будет дано, никакого итога не удастся подвести, пока самый рубеж этот не будет осознан в своей хоть и реальности, да никчемности. Был он, и не было его. Были сталинско-ленинские премии, был хлам, и с нашей стороны был хлам; но не было двух литератур, была одна русская литература двадцатого столетия.